



# Василь Быков

## Стужа

*ФТМ*



Василий Быков

**Стужа**

«ФТМ»

1991

## **Быков В. В.**

Стужа / В. В. Быков — «ФТМ», 1991

«... Да, следовало выбираться отсюда и начинать все заново. Опять мучиться, голодать, терпеть страх и стужу. Бороться. Что следовало бороться, в этом он не испытывал сомнений. Если они захватят, истребят, разопнут на кресте народ – не останется ничего. Ни прошлого, ни будущего. Значит, бороться за будущее. Но, пожалуй, и за прошлое тоже? То, что пережито с болью и обидой. Но ведь это ужасно! Вот положение, будь оно проклято. И никакого выбора... Все-таки, однако, должно же что-то перемениться, пытался убедить себя Азевич. Вечно не может так продолжаться. Как было – не должно! Все-таки с народом так невозможно. Даже и этот народ имеет какое-то право на человеческое отношение к себе. Чем он виноват, где и когда преступил закон? Божеский или человеческий? Чересчур много терпел? В прошлом и в нынешнем. Хотелось верить, однако, что после пережитого, после кровавой бани-войны наберется нового ума. Не может быть, чтобы такая война ничему не научила. Хотя бы прибавила толику чувства собственного достоинства. Нельзя же всегда, всю историю, жить в рабстве и унижении. Повиснув на кресте, даже не плакать. Впрочем, у него, Азевича, все было загодя определено. Первый заход окончился неудачей, надо было начинать следующий. Пока не кончатся силы. Или не грянет погибель. Такова судьба. Судьба его поколения. Да и народа тоже. Что же еще остается? ...»

## Содержание

Василь Быков	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

## Василь Быков

### Стужа

Городилов скончался ночью, перед рассветом – затих в холодном, продутом ветром шалашике. Азевич, сам задремав к утру, не сразу заметил это, хотя еще с вечера понял, что прокурору уже не подняться. Три последних дня тот не вставал, горел в лихорадке, хрипло и мелко дышал, а с вечера к тому же и перестал узнавать Азевича. Всю эту ночь бредил, бормоча о каком-то (или какой-то) Кузе, вздрагивал, скрипел зубами, то и дело сбивая к ногам шинель, которой они вместе укрывались. Утомившись за ночь возиться с больным, кутать его шинелью, Азевич задремал перед рассветом, но почти тут же проснулся от воцарившейся в шалаше подзрительной тишины. Городилов лежал неподвижно, жар без остатка покинул его тело, грудь под телогрейкой уже не вздымалась. Припав к ней ухом, Азевич ничего не услышал, похоже, все уже кончилось...

К своему удивлению, он не испытал ни особого страха, ни даже сожаления, лишь неясное предчувствие перемены – неизвестно, к лучшему или к худшему. Он не знал еще, чем все обернется, как он поступит теперь, оставшись без начальства, в совершенном одиночестве. Скорчившись под шинелью на мягкой хвойной подстилке, он пытался немного согреться, привычно вслушиваясь в обрывший за неприятную осень шум хвойного леса. Главное – теперь, оставшись один, он мог поступить как захочет, руководствуясь лишь своими намерениями, исходя из своих соображений. До этого, с Городиловым, все обстояло иначе. Все-таки тот был прокурором района, комиссаром группы, опять же старшим по возрасту, обо всем имел собственное мнение и не очень считался с мнением других. Может, и погиб из-за своего упрямства. Простудившись на Мокрянском болоте, он подхватил лихорадку. Наверно, надо было податься ближе к жилью, к людям и теплу, а не околачиваться в этой мрачной лесной чащобе, куда они забились на исходе осени. Азевич несколько раз предлагал уйти, но Городилов заупрямился – нет, переждем, пересидим. Вот и дождался. Теперь ему уже без надобности и тепло, и осторожность – нужна одна мать-земля, на которой он беспокойно прожил без малого пять десятков лет.

Азевич выругался с досады и начал подниматься. Один, рядом с остывшим покойником, он так озяб под волглой шинелью, что невольно постукивали зубы. Тем временем в мрачной норе шалаша забрезжило утро, стало светлее, выплыли из темноты очертания низко нависших еловых ветвей, серые суковатые комли. Что-то там, однако, мелькнуло раз и другой. Азевич с тревогой вгляделся, разом прогнав остатки дремы, меж елей летали белые мухи – это шел снег. Значит, досиделись, думал он, дождались белых мух, что будет дальше? Впрочем, что будет дальше, известно и ребенку: после предзимья наступит зима, мороз и стужа, будут видны следы на снегу. Что делать ему? Одному в этой лесной глухомани?

На короточках он выбрался из шалаша, едва сдерживая дрожь, всмотрелся в лесные окрестности. Сверху падали снежинки, неровно пятная черную землю, бугристую от сплетения еловых корней. Трава тут почти не росла, под елями всегда царил лесной мрак. Место было сухое; наверно, какую-нибудь ямку-могилу он тут и отроет. Правда, у него не было лопаты, но на ремне у Городилова всегда висел штык – широкий немецкий тесак, которым они рубили лапник и резали палки. Теперь, прихватив этот тесак, Азевич прошел между толстенных елок, пооглядывался, подумал и, трудно вздохнув, начал рыть яму.

Рыл неторопливо, с роздыхом, медленно согреваясь после беспокойной холодной ночи, рубил тесаком корни, руками выгребал нарытое. Хорошо, земля не была твердой – под слоем лесного перегноя лежал рыхлый песок, в который без усилия проникал его штык. Как только края узкой щели-могилы достигли колен, подумал, что, пожалуй, хватит. Пока покойник перебудет и в таком пристанище, а там, если появится возможность и он сам останется жив, пере-

захоронят в более подходящее место. А если нет, так что ж... Не он первый. Хорошо, что нашлось кому закопать. Еще неизвестно, будет ли кому закопать его самого.

Вернувшись в шалаш, Азевич склонился над покойником, немного помедлил. Наверно, следовало бы снять телогрейку, зачем зарывать добро в землю? Но куда ему с телогрейкой? Наденешь телогрейку, придется снимать шинель, а расставаться с шинелью он не хотел. Превозмогая неловкость, сунул руку прокурору за пазуху, вытащил мятый бумажник с документами, не раскрывая, затолкал себе в карман. В карманах прокурорского пиджака нашарил горсть патронов к нагану, мягкий кожаный кисет с остатками самосада, которым они разжились на днях у дядьки на лесной дороге. В другом кармане оказался потертый блокнот с какими-то полустертыми записями. Под головой у Городилова бугрилась кирзовая сумка, рядом лежали винтовка и наган в старой, обшкрабанной кобуре, и Азевич подумал, что, пожалуй, всего этого груза для него многовато. Две винтовки ему, конечно, не нужны, а наган он возьмет, наган ему пригодится. Как пригодился Городилову после их командира, начальника райотдела милиции Витковского, месяц назад погибшего возле моста на шоссе. Тогда под немецким огнем только и успели снять с убитого этот наган да сумку; самого же Витковского оставили в канаве, где его и подобрали немцы.

Не снимая с покойника телогрейки, Азевич выволок его из шалаша; подхватив под мышки, дотащил до ямы. Перед тем как опустить в могилу, немного отдышался, снова поглядел по сторонам. Снежинки в лесном затишье все летали между еловых ветвей, оседали на землю. На усыпанной хвоей земле медленно подтаивали снежные пятна, вокруг было сыро и влажно. С ночи не могли согреться его всегда мокрые ноги, сапоги совсем раскисли, прелые портянки никогда не просыхали. Но и у Городилова обувь была не лучше, подошва на правом сапоге отстала и едва держалась на паре гвоздей. Наверно, следует как-то проститься, думал Азевич, но не знал как. Широкое, обросшее седоватой щетиной лицо покойника казалось удивительно успокоенным, подчеркнуто безразличным ко всему, что так беспокоило его при жизни, и особенно в эту страшную осень. Все тревоги и заботы остались теперь позади, не надо было переживать за неудачи с отрядом, гибель одних, измену других, нелепую простуду на болоте, что погубила сильного, здорового человека.

Физически Азевич не был сильнее прокурора, но был моложе его и вроде уберется от простуды. Хотя оба они здорово вымокли в тот раз на болоте, пока выбрались на этот пригорок. Городилов назавтра уже не поднялся. И теперь вот – могила. Умереть во время войны от болезни – незавидную, однако, роскошь уготовила военная судьба человеку.

Как можно бережнее Азевич опустил покойника ногами вниз, затем, придерживая за плечи, уложил грузноватое его тело на дно ямы. Вот и все. Осталось завалить землей, заровнять могилку, чтобы от нее не осталось и следа. Или, наоборот, насыпать могильный холмик, соорудить какой-то знак, чтобы обозначить могилу? Азевич не знал, как лучше поступить, и, не очень аккуратно закидав яму землей, вернулся в шалаш.

В шалаше, однако, он уже оставаться не мог, хотелось скорее уйти с этого проклятого места. Вытащил из-под лапника полевую прокурорскую сумку, свой вещмешок, взял обе винтовки. Тут же валялась фуражка покойника – выцветший, провонявший потом картуз с самодельным матерчатым козырьком. Азевич напялил его себе на голову. Свою кортовую кепку, размахнувшись, швырнул между деревьев. Немного подумав, городиловскую винтовку повесил на ель – пусть висит, может, кому понадобится. Перекинул через голову ремни от кобуры и полевой сумки, подхватил свою винтовку. Надо было идти.

Вот только куда?

О том, куда податься, они немало переговорили с прокурором, оставшись вдвоем еще в Страшицком лесу, где их дважды гоняла немецкая жандармерия. Тогда им казалось, что лучше всего забраться в самую непролазную лесную глушь, чтобы никто их не обнаружил. Сначала так и было – здесь их никто не искал, деревни остались в стороне, за болотом, и они несколько

дней без опаски жгли в чаще костры, сушились, пекли картошку. К несчастью, картошка скоро кончилась. Буханку хлеба они поделили сперва на четыре части, а потом еще на три. Вчера Азевич доел последний, усохший кусок, размером с папиросную пачку. Больше съестного у них не было. А голод стал донимать все сильнее.

Навизившись с этими похоронами, Азевич почувствовал, как сильно сосет под ложечкой, давящая пустота тянет в животе. Но пока остается терпеть, уговаривал он себя, до деревни не близко. На этот раз он не полезет в болото – в болоте гибель. Он направится в другую сторону, может, более опасную, но что ему теперь опасность? Ближние деревни, кажется, остались южнее, Городилов называл какие, но тогда они не имели определенных намерений, и Азевич не запомнил названий. Помнил только, что где-то поблизости должны быть Маняки, в которых жило несколько знакомых колхозников. Наверно, к ним и следовало топать.

И он, не торопясь, побрел между елей с пригорка, предусмотрительно забирая в сторону от болота. Редкие снежинки все летели-сыпались с мутного неба, но до земли вроде не долетали, похоже, таяли в воздухе. В ельнике было почти безветренно, только вверх качались еловые вершины, и по лесу растекался тягучий неумолчный шум. Внизу, под деревьями, было чисто и голо, без хвороста и подлеска, местами желтели россыпи еловых шишек да зеленели колючие кусты можжевельника. Спустя час ходьбы лес понемногу начал менять свой облик. Ельник все больше уступал место березам, уже неприятным и голым, без листвы, слежало пластавшейся теперь под ногами. Чаще стали попадаться захламлинные хворостом заросли, прорываясь через которые, Азевич думал, что неплохо бы набрести на какую-нибудь тропинку, иначе он и до темноты не выберется из этого леса. И в самом деле, вскоре ему попала заросшая жухлой травой, давно не еженная лесная дорожка. Только пролежала она как раз поперек направления, в котором он шел, и он, остановившись, не сразу сообразил, в какую взять сторону. Почему-то, однако, пошел направо, показалось, там реже был березняк, возможно, там начиналось поле. А где поле, там, конечно, будут и люди. По дорожке идти стало удобнее, он согрелся, согрелись ноги в сапогах, и Азевич вдруг недоуменно подумал, как это он остался один. Да в таком положении. Никогда с ним не случалось ничего подобного, рядом всегда были люди – хорошие и не очень, начальство и подчиненные, простой здешний люд. А тут, будто волк в осеннем лесу, голодный, простуженный, без определенной цели, он брел неизвестно куда. Дожил, называется, черт бы их побрал, мрачно подумал он, вспомнив Витковского, да и Городилова тоже. Хотя что уж было винить покойников? Но и как было не винить? Того же начпроды Углова, которого какой-то обормот зачислил в отряд. Хотя вряд ли это произошло без ведома начальника райотдела внутренних дел Витковского или прокурора Городилова. Впрочем, в то время их можно было понять: кому, как не председателю райпо, поручить обеспечение отряда продовольствием. Ведь в его распоряжении находились продукты, транспорт, да и Страшицкий лес он знал неплохо, сам когда-то жил рядом, в деревне Лесной. Непогожею ночью скрытно нагрузили на складе райпо две полуторки мукой, крупами, картошкой, прихватили несколько ящиков консервов и даже махорки, отвезли в самый глухой конец леса, где оборудовали в яме тайник. Замаскировали так, что за пять шагов ничего не заметишь, посадили сверху пару молодых сосенок. Казалось, никто ниоткуда не видел, все заровняли, загладили, на мшанике не осталось и следа. В сентябре ни разу не дотронулись до того запаса, обходясь тем, что имелось под рукой, больше из собственных сидоров – основной запас берегли на потом, когда прижмут холода, исчезнут под снегом лесные тропы. Надеялись с тем запасом пересидеть зиму. Но вот досиделись. Когда в начале ноября впервые устроили немцам засаду, о них заговорили в местечке, и в Страшицком лесу стало куда как тревожно. Дважды их обкладывали немцы с полицией, они по-глупому потеряли двух человек убитыми, двух раненых спрятали на дальних хуторах за болотом. На фронте творилось черт знает что, никто толком даже не знал, где находился тот фронт, вроде уже под Москвой. И тогда как-то в ночи с отрядной стоянки исчез этот самый Углов – вечером был, а утром пропал неизвестно куда. Хорошо еще, что

Витковский сразу командовал сменить стоянку. Похватав свое имущество, они живо смылись из шалашей, радуясь, что удалось улизнуть от немцев, которые через пару часов и в самом деле нагрянули на стоянку. Тогда же немцы обнаружили и их тайник с продовольствием, хотя он находился за два километра от стоянки. Потом выяснилось: этот Углов перебежал к полиции и все выдал. Так они разом остались без соли и без курева, без картошки и муки.

Наверно, пополудни Азевич выбрался из леса на узкий и длинный луговой простор с извилистой речкой посередине. Тут дорога сворачивала влево, и он, оглядевшись, пошел по ней. Снежное мелькание в воздухе тем временем вроде совсем прекратилось, по ветру тянуло мелкой дождевой моросью. Очень хотелось есть. Азевич давно уже притомился, влажная шинель пудовым грузом оттягивала плечи, в намокших сапогах все тяжелели ноги, и он шатко брел по дороге. Увидев впереди, на краю луга, стожок сена, повернул к нему. Стожком, видимо, уже кто-то попользовался, снизу в его боку темнело примятое углубление, в которое Азевич и ввалился спиной, вытянув на траве усталые ноги. При ходьбе все время мешала полевая сумка Городилова, теперь он передвинул ее на колени и не сдержал любопытства: чего натолкал туда прокурор? В сумке оказались лишь какие-то политические брошюры с длинными названиями на синих обложках, потертые ученические тетради с планами политических мероприятий, написанное чернильным карандашом выступление по случаю Октября, еще какие-то бумаги с затертыми карандашными записями. Городилов слыл у них порядочным формалистом, и Азевич несколько не удивился, обнаружив этот бумажный хлам, который давно следовало выбросить. Тем более что группы уже не было, одни погибли, другие разбрелись кто куда. Это – из двадцати двух районных работников, которые три месяца назад на рассвете тихо выбрались из местечка, чтобы начать народную войну с захватчиками. Начать-то начали, но вот как кончили. Дольше всех продержались они с Городиловым, который после гибели Витковского взял на себя командование группой. Что-то не заладилось у него с людьми, люди не хотели его слушаться. Им и прежде ближе была суровая сдержанность Витковского, который за весь день, бывало, не произнесет и двух фраз, больше донимая их строгим взглядом, а то и злой матерной бранью. Но его понимали и с некоторым даже удовольствием ему подчинялись. Городилов же стремился все разъяснить, растолковать, довести до сознания – будь то чья-либо провинность или их общий долг перед Родиной. Бывало, все уже ясно, пора заканчивать, а Городилов все топчется перед их коротеньким строем и разъясняет, разъясняет. «Все поняли?» – спросит он и, не дождавшись скорого ответа, начинает объяснять по новой. Витковский в таких случаях стоял молча, терпеливо следя, чтобы никто не нарушал строй, все внимательно слушали. Он предпочитал общаться на языке воинских команд, наиболее популярными из которых у него были «Подтянись!» и «Шире шаг!». Сам всегда шагал легко и ровно, подоткнув под ремень полы шинели и мрачно поглядывая на комиссара, который устало топал рядом или в конце колонны, сдвинув с потного лба свой полинявший картуз.

Удобно устроившись в мягком сене, Азевич в задумчивости перебирал содержимое комиссарской сумки, под бумагами в которой обнаружил еще небольшой обмылок и завернутый в бумажку бритвенный помазок. Он снова сложил все в сумку. Тощий комиссарский бумажник с тремя червонцами затолкал в тесный карман своего френча, который носил до войны и теперь, в войну, тоже. Френч был удобен, с карманами на груди, застегивался до подбородка. Почти из такого же материала теперь был и картуз на его голове – чем не вояка!

Но, пожалуй, уже не вояка и не партизан даже, – кажется, с их партизанством решительно не получилось. Теперь надо было где-то пересидеть и, может, связаться с высшим начальством, доложить, как и что у них произошло с отрядом. И кто виноват. Но кого обвинять, если обоих начальников не осталось в живых, а люди... Люди, на удивление, оказались разные. И кто бы подумал! Когда собирали группу, все казались такими патриотами, проверенными большевиками, без малейших сомнений готовыми на все ради победы. Но вот при первой же неудаче возле Мокрянского болота, когда их окружили немецкие жандармы и они каким-то чудом про-



рвались, не осталось и следа от братьев Фисяков. А ведь вроде хорошие были ребята, до войны работали в леспромхозе, старший – даже мастером участка, знали здешние леса, наверно, тем и воспользовались в удобное для себя время. Не дождавшись братьев по выходе из окружения, командир послал двух партизан на их поиски, думали, может, где отстали, раненые. Сутки спустя вернулся один Колыпал, другой же, молодой парень, комсомолец Леня Полозов, был убит в засаде. А еще через неделю стало известно, что эти Фисяки уже дома, в местечке, выбирают с женками картофель на огородах, и никто их не трогает – наверно, уже объяснились в полиции. Услыхав об этом, Витковский только проскрипел зубами, а Городилов сказал, что недолго они поедят того картофеля. Но вот минул месяц, не стало ни Витковского, ни комиссара, а Фисяки все отъедаются своим картофелем – и вареным, и в мундирах, и в клетках. Жарят draniki с салом...

Луговина лежала по-осеннему пустой и серой, никого поблизости не было видно. Но дорожка здесь показалась Азевичу более наезженной, чем в лесу, и он подумал, что где-то неподалеку должны быть деревни. Эти места относились к соседнему району, который он знал плохо. Не то что свой, изъезженный и исхоженный им вдоль и поперек. И когда работал в исполкоме, и позже, когда стал кадровым работником райкома партии. Но до границы его района отсюда, пожалуй, километров десять. Там бы он ориентировался уверенно, а здесь, выйдя из леса, ощутил беспокойство. Не хотелось без надобности попадаться никому на глаза, все-таки разные могли встретиться люди. Кто поможет, а кто и продаст – из страха или чтобы подладиться к немцам. Тут уж как получится. Вон для их Клименкова кончилось и вовсе плохо – пошел на связь со своим человеком в Черноручье, дорогой все обошлось благополучно, встретились, поговорили, и хозяин предложил переночевать. Как раз шел дождь, Клименков промок и согласился отдохнуть до рассвета. Видать, крепко уснул с дороги и, наверно, видел счастливые сны: когда полицаи пыряли его винтовкой под бок, еще улыбался во сне и отмахивался рукой от винтовки. Взяли Клименкова и расстреляли через два дня, неизвестно, где его и зарыли. Потому, наверно, лучше немного выждать, пересидеть где-либо в стожке, а как стемнеет, выйти на дорогу. Деревня, пожалуй, где-то поблизости.

Стараясь не заснуть, Азевич расслабленно сидел под стожком. Немного начали зябнуть ноги, спине же от сена было в общем удобно – мягко и тепло. Правда, из-за стожка временами задувал ветер – похоже, на смену погоды. Хоть бы не повалил снег, с беспокойством подумал Азевич, не засыпал черную тропу. Конечно, ему надобно где-то укрыться, а там будет видно. Вот только где укрыться. Удивительно, чем обернулось для них это их партизанство, сокрушенно думал Азевич. Тогда, в самом начале, они старались забраться в самую глушь, подальше от деревень, людей, затаиться за болотами, чтобы никто не знал, где они, откуда возникают и где скрываются. Каждый, кто появлялся поблизости от стоянки, вызывал у них подозрение, думали – шпион, подосланный немцами. Как-то в начале осени в Страшицком лесу ребята привели дядьку с уздечкой: говорил, ищет кобылу. Он оказался из не очень близкой деревни Шелудяки (деревень поблизости там вообще не было), удалился от дома, может, километров на пять, и это вызвало подозрение – не ищет ли он их, а не кобылу? Непросто было понять, как все обстояло на самом деле, но дядька набрел на стоянку, видел их шалаши и даже узнал некоторых партизан – как было его отпускать? Не отпустили, посадили под стражу и стали рядить, что делать? Оно, может, и правда – искал кобылу, зашел далековато и нечаянно набрел на стоянку. А может, и нет. Может, набрел преднамеренно, по заданию немцев, и теперь выдаст и стоянку, и группу. Но как проверить? Даже если пойти в его Шелудяки, что там можно узнать? Комиссар Городилов рассуждал и так и этак, ребята ломали голову, как быть, и тогда командир Витковский решил: «Все ясно. Горейко, сполняйте!» Партизану Горейко не надо было призывать дважды, тот все понял с первого слова, встал и спокойно – к тому шалашу. Они все остались, где сидели кружком, молча, потупив взгляды, слушали. Ждали, однако, недолго, возле болота негромко шелкнули два револьверных выстрела, и вскоре появился Горейко. Пришел

и молча опустился на свое прежнее место. «Все, теперь завтракать», – сказал Витковский и встал. Встали и они. И пошли завтракать, избегая, однако, глядеть друг другу в глаза. То, что произошло, вроде принесло облегчение, сняло напряжение, их стоянка осталась нерассекреченной, пока можно было не тревожиться. Но тревога почему-то осталась. Что-то продолжало угнетать, будоражить сознание, хотя каждый старался придушить это чувство, не дать ему разрастись до неприязни неизвестно к кому.

Тогда им никто не был нужен, они полагались на самих себя: группа располагала силой и некоторым опытом, имела оружие и продукты. Они могли дать бой и даже иногда победить, научились скрытно устраивать засады, нападать внезапно. Но вот Азевич остался один, без людей, и ощутил себя заурядным голодным бродягой, лишенным жилья и пищи. Так, чувствовал, недолго протянет. На носу зима. Зимой же одному среди леса – гибель.

Он выбрался из стожка, когда еще было довольно светло, еще только начинало смеркаться. Теперь его время – ночь, возможно, еще и осенний вечер. Закинул за плечо винтовку, на другое плечо подхватил свой старый облезлый рюкзак, с которым пришел в то утро из местечка, собрав кое-что из вещей: пару запасных портянок, белье, бритву, а также «Историю ВКП(б), краткий курс», по которой он как агитатор проводил занятия в группе. Тощий этот рюкзак не много весил и не мешал при ходьбе. Ему больше мешала толстая городиловская сумка, и он то и дело отбрасывал ее за бедро. Понемногу, однако, темнело, кустарник и лес за лугом постепенно растворялись в вечернем сумраке, дальний конец луга уже затянулся серой туманной наволочью. Оглянувшись, Азевич скорым шагом пошел по дороге, подумав, что в такой его полувоенной экипировке только и ходить по ночам. Днем нельзя. Днем, кто ни увидит, даже издали, сразу поймет, что за прохожий. Хорошо еще, если только поймет, а если позовет полицию? Что же тогда ему – начинать перестрелку или погибать по-дурному? Нет, по-дурному погибать он не хотел. Разве что в безвыходном положении, тогда уж конечно... Не он первый, не он последний.

День действительно был короток – во всех отношениях серый осенний денек, вечер наступал на утро. Скоро вовсе стемнело, и вокруг ничего не стало видно. Лесная опушка отодвинулась куда-то в сторону и вовсе исчезла в темени. Дорога вывела его в поле, на котором заметнее усилился напор холодного ветра. Чаше стала попадаться грязь, лужи под ногами. Раза два Азевич влез в довольно глубокие колдобины, совсем промочил ноги.

Все время всматриваясь в темень ночи, он обнаружил впереди что-то темное, продолговато-громоздкое. Кажется, это были строения, два пониже возле дороги и что-то повыше – за ними. Изгородь, на которую он наткнулся, привела его к воротам усадьбы, в низком оконце за крохотным цветничком хлипко мерцал красный огонек коптилки. Иногда он исчезал в тени – наверно, там кто-то двигался возле коптилки. И Азевич решился. По-видимому, это была первая усадьба, на краю деревни, и в этом была опасность. Но искать другие Азевич не стал и осторожно вошел в полуоткрытые ворота.

– Кто там?

Все-таки его слышали в темени. Сдерживая волнение, Азевич ступил два шага и так же тихо ответил:

– Свои... Можно к вам?

В ответ было неопределенное молчание. Но он разглядел неясное очертание человеческой фигуры возле крыльца, наверно, это был хозяин усадьбы. Азевич подошел ближе, чувствуя в темноте настороженно-пугливое внимание человека.

– Может, зайдём. А то...

Человек повернулся и, пригнув голову, молча перешагнул порог. Азевич пошел за ним и, миновав темные сени, оказался в избе. У порога на уголке стола горела самодельная коптилка, тускло освещая побеленный бок большой печи напротив да закопченный потолок. Хозяин бро-

сил у входа принесенные со двора поленья и выпрямился. Несколько испуганных лиц из полумрака избы молча уставились на непрошеного гостя.

– Мне бы переночевать, – нерешительно проговорил Азевич.

В избе все молчали, продолжая тревожно оглядывать его. Азевич терпеливо топтался на темном полу, переставляя у ног снятую с ремня винтовку. И тогда стоявшая к нему ближе других молодая с косой на спине подхватила из темноты какую-то одежду, видно, освобождая место на лавке.

– Идите, сядьте, во...

Он мысленно поблагодарил и шагнул к лавке, снял с себя сумку, рюкзак. Напротив, возле коптилки и у печи, застыли тусклые фигуры, но он уже понял, что это – семья: молодка и старая согбенная бабка в платке, и еще женщина, похоже, жена хозяина, неуклюже одетая в мужскую телогрейку. Поодаль, возле запечья, болезненно охая, ворошился лысый седобородый дедок. Он долго пристраивался там, чтобы сесть, прежде чем начать разговор.

– Прохожий или тутэйший будете?

– Прохожий, – сказал Азевич. – Окруженец.

– Этак? Теперека они идут, окруженцы, – с горечью сказал дед. – От самого лета идут.

А родом же откуда? Или дальний будете?

– Нет. Соседний район.

– Ну то близко, – сказал дед. – Коли соседний район, так близко... А то на Покров были у нас двое, так аж из Расеи сами. Идут, идут люди. Что робится...

Азевич окинул взглядом мрачное убранство жилища, его настороженных обитателей; то, что с ним охотно заговорил дед, обнадеживало. Правда, несколько озадачивал хозяин, плечистый, лет сорока мужчина с коротко подстриженными усиками под широким носом, который также украдкой внимательно рассматривал его. Уж не хочет ли он его узнать, подумал Азевич. Может, где видел в те годы? Ничего не сказав, хозяин снял полушубок и принялся мыть руки. Изба оказалась просторной, разделенной шкафом с занавеской на две неравные половины. Дед остался на прежнем месте, возле печи, а женщины продолжали, видно, прерванные его приходом занятия – что-то прибирали, приносили-выносили, хлопотали возле печи. Гостю раздеться не предлагали, но пока и не отказывали в его просьбе. И он подумал, что, по всей видимости, заночует. А если заночует, то, наверно, чем-то и покормят. Не может того быть, чтобы спать положили голодным.

– Вот забрел по ночи, а не знаю, как и деревня ваша называется, – сказал Азевич более для того, чтобы не молчать.

– А мы на хуторах, – охотно отозвался дед. – Хутора наши Авдеевскими называются. Еще за царом, как выделили вон из той вески Карачуны, так и застались...

– Карачуны? Слышал вроде. Это возле озера?

– Вон оно, видно в окно озеро, – кивнул головой дед, хотя за окном уже не было ничего, кроме непроглядной осенней темноты.

На какое-то время его оставили без внимания. Молодица что-то тихо спросила мужчину про корову, тот коротко ответил, что всех напоил, вода пока есть. Наконец женщины вроде принялись собирать на стол: звякнула заслонка в печи, по избе поплыл вкусный запах съестного, и Азевич порадовался скорому ужину. Собирали на стол, однако, медленно, хотя вроде бы ничего уже не варилось, в печи не горело. Азевич скоро согрелся в теплой избе, расстегнул крючки шинели, но ремня не снимал, винтовку прислонил к стене. Он ждал расспросов, да и сам не прочь был поговорить, расспросить кое о чем. Но какая-то настороженная безмолвность воцарилась в избе и сдерживала его желание. Правда, он не чувствовал в том ничего предосудительного, знал обычаи здешнего люда дожидаться, пока первым заговорит гость. Было в том и уважительное отношение к гостю, и некоторое опасение чужого, а может, и враждебного

человека. Впрочем, стоило опасаться, особенно в это треклятое время, может, эти уже были научены.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.